

к 50

Р 30565

АДИМ КОЖЕВНИКОВ



Мера ТВЕРДОСТИ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1942



Вадим Кожевников

М Е Р А Т В Е Р Д О С Т И

Издательство ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
1942

Редактор М. Дальцева

*Печ. л. 2 $\frac{1}{2}$. Уч.-авт. листов 3,4.
Знаков в 1 печ. л. 59000. Ти-
раж 25 000. Л106625 Подпи-
сано в печать 11·XII 1942 г.
Заказ № 1862.*

*Ф-ка юн. книги изд-ва ЦК
ВЛКСМ «Молодая гвардия»,
ул. Фридриха Энгельса, 46.*

Шоединок

Капитан Сиверцев сидит на складном стуле боком. Правая рука его, толстая от бинта, с желтыми от иода кончиками пальцев, бессильная и тяжелая, висит на груди в косынке защитного цвета.

Не отрывая глаз от стереотрубы, капитан Сиверцев диктует телефонисту цифры. Телефонист передает цифры на батарею. Батарея находится в шести километрах позади НП — в лесу. Орудия отвечают глухим, как слово «да», выстрелом. Через несколько секунд с раздирающим шелестом пролетает снаряд.

В расположении немцев подымается на воздух черный сугроб земли. Звук разрыва доносится только тогда, когда дымящаяся куча медленно опадающих обломков исчезает из поля зрения.

В блиндаже сыро, как в погребке, и тесно. В амбразуры невооруженным глазом видны немецкие окопы, трясущаяся пыль от пулеметных очередей.

Капитану Сиверцеву на вид лет сорок. У него сухое лицо, одет он со строгой щеголеватостью кадрового командира.

На наблюдательном пункте, который находится от немцев в семистах метрах, он расположился с удобствами. Нары накрыты теплым одеялом, в изголовье тол-

стая белая подушка. На фанерной доске бритвенный прибор, зеркало, большой синий чайник с квасом.

Это неважно, что за двое суток капитан только один раз прилег. Важно то, что здесь, в семистах метрах от немцев, более уютно, чем на КII, который находится далеко, там, позади, на опушке леса.

За двое суток непрерывного наблюдения капитан засекает огневые точки на переднем крае противника. И теперь, называя сухие цифры, он давит зарывшихся в складках нашей земли немцев.

Самое трудное впереди. Предстоит дуэль с немецкой тяжелой батареей, которая сейчас молчит.

Эта немецкая батарея пристреляна по собственному переднему краю. Когда наша пехота прорвет укрепления, немецкая тяжелая батарея постарается накрыть нашу пехоту. Этот маневр оборонительного огня является одной из разгаданных особенностей тактики немецкой обороны.

В момент штурма, когда немецкая батарея выявит себя, ее нужно разбить.

От исхода поединка зависит во многом план операции.

Когда капитан отводит лицо от стереотрубы, чтобы дать передохнуть воспаленным от напряжения глазам, сидящие у стены бойцы взвода управления вскакивают и вытягиваются. Капитан снова обращает усталое лицо к стеклам. Бойцы медленно садятся, не сводя настороженного взгляда со спины капитана.

Бойцы знают — командир придиричив. Но зато он никогда не пытался внушить симпатию к себе добродушной веселостью или той ложной проницательностью, когда, спрашивая бойца, делают вид, что якобы наперед знают, что боец ответит. Жестокие прямые слова свойственны капитану.

Вчера утром, когда, лежа на нарах, он отдыхал, разведчики привели в блиндаж пожилую женщину. Она плакала,

хватала бойцов за плечи и все спрашивала: действительно ли они русские? Она казалась помешанной.

Капитан спросил женщину, что она делала в лесу. Женщина сказала:

— У меня в доме немецкие офицеры живут. Они очень землянику любят. Я каждый день хожу для них ягоды собирать. А если приношу мало, они меня по голове кинжалами в чехлах бьют. И всю мне память отшибли, от этого я стала глупая и заблудилась.

Капитан подвел женщину к стереотрубе. Навел стереотрубу на деревню и попросил женщину указать, где ее дом.

Женщина, глядя в трубу, испуганно воскликнула:

— Вон тот, меж двух тополей, которые в грачиных гнездах.

Капитан на секунду припал к трубе, потом подал команду:

— Правее ноль шестнадцать, два снаряда фугасными, второе орудие — огонь!

Когда взрывы смолкли, капитан попросил женщину снова посмотреть в трубу.

Женщина наклонилась... и вдруг бросилась на капитана и стала кричать на него, размахивая кулаками, и рвать на себе волосы.

Капитан стоял вытянувшись, с бледным лицом и заслонял левой рукой простреленную руку, чтобы женщина не ушибла ее.

Потом капитан повернулся к бойцу; указывая на женщину, безглаголиво сказал:

— Отведите ее в Бугаево, что ли. Скажите, в сельсовете пусть устроят. Ей теперь жить негде.

И боец увел кричащую женщину.

Вечером эта женщина снова пришла к капитану. Она подошла к нему и сказала тихо:

— Вы простите меня, товарищ, я просто была какая-то ненормальная.

Капитан сказал тоже тихо:

— Я понимаю вас.

Потом женщина поставила на пол крынку с земляникой и сказала:

— Вот, может, покушаете? — И объяснила: — Я почему на вас так кричала. Вы думаете, хату жалко? — И совсем тихо сказала: — У меня дочка там оставалась. Ниной ее звали.

Все молчали. И это молчание было очень тяжелым. Женщина поправила платок; потом молча попрощалась со всеми за руку и ушла.

А земляника в крынке еще долго стояла в блиндаже, и на эту крынку бойцы смотрели так, как смотрят верующие на икону.

...Всю ночь шел дождь. А дождь ведь тоску нагоняет. Капитан сидел на нарах, баюкал раненую руку и все курил. Бойцы тоже не спали и тоже курили. И они знали, что у капитана не так болит рука, как сердце. И бойцы ждали рассвета, потому что с рассветом должно было начаться наступление.

На рассвете немцы стали бить из минометов по вышке, где был расположен наблюдательный пункт. Они решили выбить во что бы то ни стало сначала глаз у русской батареи.

Немцы очень спешили. Они сразу открыли огонь из трех минометных батарей.

Но капитан не обращал внимания на огонь минометов. Он сидел на складном стуле, отвернувшись от стереотрубы, и, склонив голову, перебирал холодные, обескровленные пальцы правой руки левой рукой. Капитан ждал.

В 7.10 начался штурм.

Поблескивая потертыми, как лемехи на плугах, траками, качаясь на рывтинах, поползли танки. За ними катились серые кричащие волны пехоты. Как черные лезвия, пронеслись над передним краем немцев наши штурмовики.

Капитан сидел, склонив голову, и, казалось, только прислушивался к биению своего сердца. Капитан сосредоточенно ждал того острого мгновения, когда от него — только от него одного! — будет зависеть все это огромное живое движение боя.

За кровь падающих бойцов, этих танкистов, полуоглохших от бешеного колокольного звона брони, по которой колотили немецкие снаряды, за всю кровь и скорбь разгневанной родины и даже за этот кувшин с земляникой — за все должен ответить он. Или он выиграет единок, или те, кто атакует сейчас врага, добывая свою родную землю, в то мгновение, когда радостное слово ПОБЕДА еще не отлетит с их губ, будут накрыты мятущим огнем прозно притаившейся сейчас батареи.

Раздался глухой удар. Капитан выпрямился, мельком бросил взгляд на часы — 7.30. Капитан встал, вынул папиросу, помял пальцами табак, дунул в мундштук. Движения его были замедлены — он ютсчитывал секунды полета снаряда.

Лопающийся взрыв потряс почву. Ветер разрыва донесся сюда тугой, душной волной. Ветер, ушибающий насмерть, крутящий стальные осколки, словно черные, осенние листья.

Это был пристрелочный выстрел. За ним последует второй и даже, может быть, третий.

В интервалах между выстрелами, пощелкивая линейками, наклоняясь над таблицами, немецкие офицеры будут сверять свои данные с данными звукометрической станции. Они самоуверенны и методичны, эти сволочи. Они любят жрать русскую землянику, они предусмотрительно надевают на клинок ножны и только после этого лупят по голове. О, у них методика во всем!

Раздался первый, черновой залп.

Капитан, наклонившись к телефонисту, слушал донесения передовых разведывательных постов и кивал голо-

вой. Зажав коленями коробок, он чиркнул спичку и прикурил.

Прозвучал второй залп.

С батареи донесли, что снаряд разорвался в расположении тракторов. Одна машина выведена из строя.

Трое бойцов взвода управления стояли навтыжку у стен блиндажа и с укором смотрели на командира, недоумевая, почему он до сих пор еще не открывает огня.

Капитан встал, прошелся по блиндажу, продолжая слушать донесения разведчиков. Почти все ясно. Нехватало только одного показания. Капитан ждал. Он был спокоен. Он встал. Прощелся по блиндажу. Наклонился над кувшином с земляникой, взял горсть ягод и стал машинально есть.

Раздался третий залп.

С батареи сообщили, что у одного орудия перебито колесо. Орудие осело набок, но огонь можно вести. И почти тотчас с переднего поста сообщили нехватавшие данные.

Капитан на мгновение задумался. Все. Ясно. Шагнув к телефону, он поднял руку.

Но телефонист, безуспешно стуча рычагом, повернул к капитану искаженное лицо.

— Связь! — приказал капитан, обернувшись.

Боец, наклоня голову, выскочил наружу. Но когда он поднялся из хода сообщения, ударила пулеметная очередь, и боец свалился обратно в траншею. Прижимая обе руки к животу, виновато улыбаясь, он попытался подняться и снова упал.

— Связь! — повторил снова капитан.

Другому бойцу почти удалось пробежать открытое место. Но и он упал. А через несколько секунд он начал ползти, волоча перебитые ноги.

Воля командира, упорно хранимая, негибкая, — сейчас только она простой и ясной своей силой застав-

ляла совершить то, что дано человеку совершить один раз в жизни.

Капитан обернулся к единственному оставшемуся связному и встретился с ним глазами.

Это был Алексеев. Ему было двадцать лет. Как-то он сказал капитану, краснея:

— Знаете, товарищ капитан, я вместе с вашим сыном учился в одной школе...

— Да? — сказал капитан, и лицо его потемнело, словно от боли, но тотчас же оно приняло обычное выражение. — В таком случае вам следует работать вычислителем, — прибавил он. — Туда нужны грамотные люди.

При встречах Алексеев не сводил с капитана обожающих, преданных глаз. Для него капитан был образцом, человеком, которому он хотел во всем подражать. Он даже невольно научился улыбаться так, как капитан, одними губами.

Два раза бойцы выкапывали его вместе с капитаном из-под обломков дома, в котором находился наблюдательный пункт. Однажды капитан вытащил его из сарая, подожженного зажигательным снарядом, где он лежал задохнувшись, без сознания возле телефонного аппарата.

А когда Алексеев вернулся из госпиталя и стал благодарить его, капитан сделал ему резкое замечание за то, что он явился к нему, не зашив как следует прожженной одежды.

Шагнув к капитану, Алексеев хотел сказать, что он хочет умереть за долину, что капитан, вспоминая его, будет гордиться им, что он...

Но капитан нетерпеливо пошевелил плечом, и Алексеев, резко повернувшись на каблуках, вышел.

Капитан поглядел вслед ему.

Пехота ворвалась вслед за танками. Бойцы дрались в траншеях врукопашную. Накинув ремень на ствол немецкого пулемета, бывшего из блиндажа, какой-то боец

оттягивал пулемет в сторону. Другой, широко расставив ноги, раскачивал связку гранат, прежде чем швырнуть ее внутрь блиндажа.

Немецкие солдаты дрались отчаянно. Они знали, что, покинув укрепления, они попадут под огонь пулеметов. Танк «ВК», забравшись на кровлю дзота, затормозив одну гусеницу, вращался на одном месте, стараясь продавить перекрытие. Выкатив орудие, немцы вели огонь по танку. Но к расчету бежали наши бойцы с винтовками наперевес.

И вдруг, когда немецкие солдаты еще не отступали и их было больше, чем наших, немецкая тяжелая батарея бросила залп из всех орудий.

Но в то же мгновение на нашей стороне вздохнула батарея, и, рассекая воздух, снаряды понеслись туда, в глубь немецкого расположения, где находилась эта тяжелая батарея.

Залпы русских орудий слились в единый мрачный, грохочущий гул. Казалось, это грубым и ненавидящим голосом кричала сама наша земля.

Там, где находилась немецкая батарея, поднялась черная туча, как будто поднятая навечно.

Тонко продуманный, вымеренный, заранее расписанный замысел немцев наткнулся на то, что невозможно вычислить и предвидеть.

Тактика артиллерийского наступления. Мгновенно возникшая атака тяжелых эшелонов, почти догоняющих друг друга в воздухе снарядов, — эта тактика никем не выдумана.

Так, поймав, наконец, убийцу, прижав к земле, может молотить его только русский.

Но вот капитан, отложив телефонную трубку, вытер ладонью лоб. И странно, такого легкого человеческого движения было вполне достаточно, чтобы вся эта непомерно могущественная сила подчинилась ему.

И стало тихо. И стало слышно, как осторожно еще

осыпается земля со стен блиндажа и как гудит в блиндаже толстая бабочка с густо напудренными белыми крыльями.

Капитан взглянул на часы — без пяти восемь! Он наклонился и записал время в записной книжке с изношенным переплетом. И эта цифра стала рядом с другими цифрами и ничем уже не отличалась от них.

...Светило солнце. На нетоптанном лугу росли цветы. Река синего цвета текла мимо высокого леса. Сухо стучал кузнечик во ржи, высокой, блестящей золотом; мягкие облака плыли в небе.

А там, впереди, лежала еще одна пядь нашей родной земли, обугленная, исковерканная, политая кровью, но родная и любимая более, чем жизнь, более любимая, чем эта красивая и нетронутая, дышащая сейчас покоем и счастьем.

Крик в ночи

Вот что мне рассказал санинструктор Василий Лукич Яропольцев, когда он находился в полевом лазарете, где лежал тогда на койке раненный, окруженный заботами не только медперсонала, но и выздоравливавших бойцов и командиров, — ведь многих из них он совсем недавно вынес с поля боя под огнем, истекавших кровью, слабых и беспомощных.

Лежа на спине, положив поверх одеяла большие уставшие руки с распухшими венами, Яропольцев говорил сердитым и хриплым голосом. Изредка он с трудом подымал руку с пальцами, сложенными в щепоть, и крутил ус. И хотя узенькие, тощие усы не шли к его широкоскулому рябому лицу, он носил усы, потому что усы — это гвардейская мода. А Василий Лукич Яропольцев — гвардеец.

...К ночи с 24 на 25 августа бой за высоту Малая Плоская стих.

Тяжелый и теплый ливень не прекращался вторые

сутки, и почва проваливалась от этого под ногами, словно гнилая.

«Ничейная», несчастная земля лежала между нашими и немецкими подразделениями. Брошенные окопы, наполненные черной водой, блиндажи с развороченной кровлей, плавающие в котлованах расщепленные бревна. Тут на санитарной линейке не развернешься.

Василий Лукич срубил две березки, привязал концы стволов к хомуту лошади так, что вершины деревьев волоклись по земле наподобие огромного просторного веника. На этой волокуше он увозил раненых с «ничейной» земли на перевязочные пункты.

Но скоро на этой «ничейной» земле его кобылу убили гитлеровцы.

Немцы собирали с поля боя своих убитых. Привязывая к ногам веревки, они уволакивали трупы, чтобы русские бойцы не знали, сколько они убили. Кроме того, немецкие солдаты, ползая по полю, добивали наших раненых, делали возле трупов засады, а наиболее квалифицированные мерзавцы поступали так: если наш боец лежал без сознания, они подкладывали под него мину и тоненькой проволокой, соединенной со щечкой взрывателя, обматывали раненого.

Но немцы и со своими ранеными тоже не церемонились. Если раненый начинал кричать, когда у него выворачивали карманы, солдат его аккуратно закалывал.

Поэтому сказать, что в ночь с 24 на 25 августа бой на территории высоты Малая Плоская полностью прекратился, было бы не совсем правильно.

Наши санитары, собирая раненых, вели непрерывные схватки с немцами. Приходилось иногда для этого объединяться в группы до пяти человек.

Во время одной из таких стычек лошадь Яропольцева убили, потому что она не умела ложиться под югнем, как это делают казацкие кони.

Кто был на фронте, тот знает, как ночью после боя

на «ничейной» земле кричат раненые немецкие солдаты. Они воют, как домашние животные, когда их режут. Слушать эти вопли невыносимо.

Наш раненый русский боец переносит страдания с молчаливым достоинством. Даже накануне смерти, когда человеку, в сущности, все безразлично, боец борется за свою воинскую гордость, стиснув зубы, впиваясь пальцами в землю, и молчит.

Поэтому находить наших раненых на поле боя санинструкторам трудно. Но это также помогает сохранить нашим раненым жизнь.

Погеряв лошадь, блуждая по истерзанному полю боя с немецким автоматом на шее, Яропольцев искал раненых.

И вдруг он услышал громкие стоны. Думая, что это кричит немец, он медленно побрел в ту сторону, откуда слышались стоны.

В воронке от 152-миллиметрового снаряда он нашел раненого нашего бойца Усеина Чаляпова.

Яропольцев был сильно удивлен. Как это так: наш боец — и вдруг кричит!

Но увидев, что голова Чаляпова в крови, Яропольцев осторожно положил его голову к себе на колени и стал бинтовать.

Чаляпов открыл глаза, посмотрел на Яропольцева равнодушно и сказал:

— Ты мне голову не бинтуй. Она у меня не болит. Это я ушибся, когда падал.

Тогда Яропольцев сказал:

— Зачем же ты лежишь тогда как раненый, если только ушибся, и еще воешь, как немец? — И ядовито добавил: — Ну, сколько же ты фрицев убил, пока не ушибся?

— Нисколько, — спокойно сказал Чаляпов.

— Это почему же? — спросил Яропольцев.

Чаляпов протянул руку и осторожным движением поднял на животе мокрую гимнастерку. Яропольцев увидел

рану и отвернулся. Чаляпов опустил подол гимнастерки.

Яропольцев сказал:

— Это ничего, это заживет.

Чаляпов прислушался и сказал решительно:

— Отойди, пожалуйста.

— Зачем?

— Будь другом, — сказал Чаляпов.

Яропольцев удивился его просьбе, но понимал, что этого раненого нельзя волочить по земле на плащ-палатке, а нужно нести осторожно вдвоем, и, наложив повязку на грудь и живот Чаляпова, он оставил его и пошел искать помощи. Но не успел Яропольцев отойти, как снова услышал стоны Чаляпова. В нерешительности Яропольцев остановился, но, подумав, что Чаляпов стонет для того, чтобы он не потерял его, крикнул:

— Ты не шуми, а то немцы зарежут. Я место приметил. Полный порядок! — И отправился на поиски санитаря.

Когда Яропольцев с санитаром Дудником шагали к тому месту, где лежал Чаляпов, они слышали выстрел, хриплый стон. Потом все смолкло.

Падая в щели, наполненные водой, выбираясь, они бежали напрямик к тому месту, где лежал раненый.

И вот что они увидели.

Чаляпов сидел, опираясь руками о землю, короткий нож лежал у него на коленях, а рядом, уткнувшись лицом в землю, лежал долговязый немец. Другой, скорчившись, держась руками за горло, полз в сторону.

Медленно подняв глаза на Яропольцева, с трудом вочерочая языком, Чаляпов сказал:

— Ты думал, товарищ, что я стонал, как женщина, потому что мне было больно и страшно? Нет. Я немца звал. — И, опускаясь на землю, он прошептал: — Теперь носи меня, пожалуйста, осторожно и с почетом. Теперь мне не стыдно, что я раненый...

Заканчивая свой рассказ, Яропольцев пытливо следил

за выражением моего лица, и, заметив что-то такое в нем, что ему не понравилось, он живо приподнялся и, облокотившись на подушку, сурово сказал:

— Я в газете читал, как боец безоружный немцу горло перегрыз. И скажу я вам: я бы того бойца в губы поцеловал после этого, как брата. Вот такая моя точка зрения. — Потом, успокоившись, он снова улегся на подушки и, вытягивая свои натруженные руки поверх одеяла, продолжая беспокойно перебирать пальцами, тихо добавил:—Если вы любитель всяких происшествий, так я вам напомним про один случай, который в газете был обрисован... Один чабан был застигнут в горах бураном. Снег, ветер. Все овцы его должны были погибнуть. Но не такой он был человек, этот чабан. Он слабых овец на руках, как детей, нес, когда они падали, а на ночь чекмень и шубу с себя снимал и с жалостью накрывал маток. В снегу проходы вытапывал километров на пять, чтобы овцы проходили. Четверо суток во рту куска хлеба не было. А ни одного ягненка не зарезал. И когда пригнал он свою отару в затишек, он ни одной овцы не потерял. Его правительство за это медалью «За трудовую доблесть» наградило. А теперь этот хорошей души чабан за боевую получит, а то и орден.

— Это был Чаляпов?

— Понятно! А то зачем рассказывать! — Яропольцев поднял руку и погладил свои гвардейские тощие усы, так мало идущие к его угловатому, сильному и твердому лицу.

Два товарища

Ночь сырая, тяжелая. Когда проезжает машина, в узком лезвии прищемленного света на мгновение возникают дождевые нити. Потом снова мрак.

Дорогу размозжили танки, размыло дождем. Она стала корытом, наполненным черным тестом.

Колонны барахтаются в этой грязи. Тяжелые камни высоко выпрыгивают позади скребущих гусениц тракторов; иногда из камня, как при ударе кресала о кремьнь, вылетают искры.

Под плоские, бешено бегущие траки гусениц артиллеристы бросают стволы деревьев. Мокрые щепки, как осколки, летят во все стороны. Орудия шатаются, и тогда артиллеристы подпирают мокрыми плечами их смертельную тяжесть.

Усталые пехотинцы идут по обочине дороги мимо брошенных немецких окопов, наполненных желтой водой. Но, проходя мимо артиллеристов, пехотинцы с уважением оглядываются на них.

В расположении немцев поднимаются на воздух и долго висят пучки встревоженных осветительных ракет.

А встревожиться есть от чего.

Все эти фронтовые дороги тудели низкими головами, как басовые, гигантские, туго натянутые струны, от идущих по ним бесконечных колонн.

А с рассветом дороги оказались пустыми.

Тяжелые орудия притаились в роще.

Пока командир батареи Смирнов выбирал место для артиллерийской позиции, бойцы, безмерно уставшие после ночного марша, отдыхали, лежа на мокрой траве.

Наводчик Василий Грачев — жилистый, занозистый, горячий.

Ящичный Горбуль — могучего сложения, склонный к полноте. Застенчивая улыбка постоянно блуждает на его по-юношески пухлых губах.

В бою прямым попаданием вывело большую часть расчета. Грачев и Горбуль остались вдвоем у орудия. Тяжелые танки шли на батарею. Восемь танков уничтожили они вдвоем прямой наводкой. Но тягач был разбит, снаряды израсходованы. Грачев послал Горбуля на высотку, где находился минометный расчет. Горбуль вернулся один. Он принес два ящика мин и сказал, что

бойцы погибли, миномет разбит. Мины он принес для того, чтобы подорвать ими орудие.

Грачев сказал:

— Еще чего! — и стал рассматривать мины.

Ночью цепи автоматчиков пошли на одинокое орудие. Горбуль терпеливо стрелял из винтовки, а Грачев ругался и хотел что-нибудь придумать. Когда воюющие немцы были совсем близко, Грачев схватил Горбуля за руку и, подавая ему увесистую мину, сказал строго:

— А ну, брось подальше!

Горбуль покорно, как он делал все, что ему приказывал Грачев, взял в руку мину и, резко откинувшись, швырнул ее. Пригнувшись он только потому, что Грачев с силой прижал его голову к земле. И мина разорвалась. Тогда Грачев стал подавать мины Горбулю, а Горбуль бросал их размахисто и сильно. Когда мина не разрывалась, он виновато бормотал:

— Видно, на мягкое попала. А ну, дай еще, я ее на другое место кину.

Они отбили атаку. Пришла помощь. Горбуль сказал, что он отмахал руку, но драться может. Грачев пошел отыскивать трактор и скоро явился, но не с трактором, а с грузовиком, где были снаряды. Теперь втроем они снова продолжали вести огонь. Втроем потому, что Грачев не отпустил обратно шофера.

И на этом привале Грачев был таким же деятельным и предприимчивым, как и всегда. Он разыскал сено и принес его целую охапку.

— Мягкая будет постель, — сказал обрадованно Горбуль и пошел за сеном.

Но Грачев не стал ложиться на свое сено. Он свалил его возле запачканного грязью орудия. Грачев был начальником правой станины. Сначала он вытер ее сеном. Потом набрал в котелок воды и вымыл станину. Тряпкой он протер банник, приданный его станине досыльник, кувалду и лом-лапу.

Когда Горбуль вернулся с сеном, Грачев сидел на пне, поросшем древесным грибом, похожим на лошадиное копыто, и, озабоченно поджав губы, зашивал разодранную на плече гимнастерку.

— Красоту наводишь? — спросил Горбуль.

Грачев сказал:

— Я еще бельишко постирать нацеливаюсь, запотело очень.

— Не говори, — сказал Горбуль, — все кости болят. — И, охнув, повалился на сено.

Но вдруг взгляд его остановился на орудии. Горбуль приподнялся, сел, долго пытливо смотрел на склоненное притворно-кроткое лицо Грачева, потом стал поспешно обуваться. Забрав сено в охапку, Горбуль еще раз сердито оглядел Грачева. А Грачев, делая вид, что ничего не замечает, отложил гимнастерку, взял лопату и пошел отыскивать место, где можно отрыть криничку, чтобы постирать в ней белье.

Через полчаса Горбуль разыскал Грачева у этой кринички. Тяжело отдуваясь, Горбуль сказал:

— Ловко ты меня прижучил.

— Я тебя не жучил, — тихо сказал Грачев. — У каждого своя совесть.

Горбуль сел на землю и, глядя на руки Грачева, сказал с сердцем:

— Вот воюем мы с тобой год вместе. И хоть я тебя ничем не хуже, а всегда выходит — вроде как хуже. И почему это?

Худое лицо Грачева с большими, темными от загара ушами покраснело, глаза сузились. Он положил на траву свернутую в жгут мокрую рубаху, вытер руки и сказал звенящим голосом:

— Я немцев скорей убивать желаю, понятно?

— Это все хотят, — сказал Горбуль, повернувшись к Грачеву своим большим и сильным телом. — Не об этом речь.

— Нет, об этом, — сказал Грачев гневно. — Я тебе ветошь перед маршем дал, которую у хозяйки выпросил. А ты ее куда девал?

— Так она ж вся в дырах, — сказал Горбуль. — Ну, забыл на привале, ну и что ж?

— А то, — зловеще сказал Грачев, — что эта ветошь на вате, а вата хорошо воду держит, а если опять придется беглый огонь вести, ею хорошо орудие остужать.

Горбуль смутился и сказал примирительно:

— Ну, ладно, твой верх, мой недолет.

Грачев, смягчившись от просительного тона, но еще не желая мириться, сказал:

— Я себя умником не считаю. Но за войну я себе одну мысль придумал. — Он помедлил, посмотрел на небо, где кружил немецкий корректировщик, прозванный за свою форму «костылем», и сказал, не меняя позы, не опуская глаз: — Люди теперь машинами воюют. — И поспешно добавил, боясь, чтобы Горбуль не перебил: — Винтовка тоже машина. А наше орудие — совсем машина.

— Ну и что? — перебил его все-таки Горбуль.

— А то, — уверенно сказал Грачев: — машина в руки даром не дается, если об нее все руки не взотрешь. — И неожиданно закончил: — А ты человек мягкий. Ты себя мучить не любишь. Ты воевать на одном азарте хочешь. По тебе, война — только драка. На огневой ты королем ходишь, а на марше лопату в руки взять брезгуешь.

Горбуль приподнялся и сипло спросил:

— Так кто же я после всего этого по-твоему?

Грачев тряхнул рубаху и спокойно сказал:

— Необдуманый человек, вот ты кто!

...Командир указал, где нужно оборудовать огневую позицию.

Выкопав нишу в две щели по бокам ее, бойцы, вкатив орудие, замаскировали его. На свежесрубленные стеллажи

уложили снаряды, с левой стороны на припасенную Грачевым доску поставили стаканы с зарядами, другой доской прикрыли стаканы, чтобы не проникала внутрь сырость.

Верный себе, Грачев натаскал в нишу лапок ели и устилал ими землю, как ковром. Затем сходил к своей криничке и принес воды на случай, если придется при большом огне остужать нагретый ствол орудия.

Было жарко, знойно. Желтый, горячий солнечный свет, проникая сквозь листву деревьев, красился в зеленый цвет, как от абажура, но от этого он не становился прохладнее. Облака в небе казались тоже теплыми от жары. В расположении немцев стояла какая-то притаившаяся тишина.

Гороуль, верный своей натуре, когда вкатывали орудие, показал всю свою силу и в заключение кувалдой лихо заколотил с нескольких взмахов сошники разведенных станин в землю. Успокоившись, он улегся в куцем шалаше так, что его ноги торчали наружу, и курил, глядя на небо, на облака, желтые и теплые в вершинах, а внизу уже покрытые холодной копотью надвигающихся сумерек. И поза его была настолько безмятежной, что видно было сразу: этот человек решил по крайней мере сто лет прожить и поэтому никому не торопится.

Ночью немцы открыли орудийный огонь.

Сначала раздавался глухой звук, будто кто-то далеко ударял пинком в днище пустой бочки. Потом слышался сухой шорох полета снаряда. Он нарастал, приближался, как ветер, несущийся по вершинам деревьев высушенного, мертвого леса. Затем раздавался хрустящий звук разрыва, и тугая воздушная волна толкала, как подушка.

Артиллеристы, сидя в шалашах, прислушивались к полету снарядов и шутили, когда снаряды не разрывались и плюхались на землю, резко прерывая скрежещущий

стон полета. А когда после одного выстрела раздался непонятный режущий вопль, словно в воздухе летело какое-то страдающее животное, и послышался очень глухой звук разрыва, бойцы захохотали:

— Этак они своих перелупят!

— Поясок со снаряда соскочил, вот он кувырком и чешет на свой край...

— Портит кто-то фрицам товар!

— С нашей продукцией такого сраму не бывает!

И артиллеристы курили, лежа в шалашах, и обсуждали немецкую стрельбу насмешливо и деловито.

В светлом, большом, чистом небе светили большие зеленые звезды, похожие на бортовые огни самолетов. В шалашах пахло банными венниками от увядающих листьев.

Грачев, положив на лист бумаги ладонь с растопыренными пальцами, учился писать в темноте, так как хотел стать разведчиком-вычислителем. Работа огневика казалась ему слишком спокойной. Горбуль, лежа на спине, говорил медленно, со вкусом, только для того, чтобы поговорить, не особенно задумываясь над смыслом того, что он скажет.

— Это правильно насчет презрения к смерти, — приятным грудным голосом гудел Горбуль. — Чего ее бояться! Но и зря думать о ней не стоит. Вот он сейчас пристрелку кончит и накроет. А зачем я себя по этому поводу тревожить буду? Лучше я о чем-нибудь интересном буду думать.

В темноте не было видно лица Грачева. Но, судя по тому, как он ерзал на своей лиственной подстилке, понятно было, что каждое слово Горбуля раздражающе жгло его.

— Вася, — сказал Грачев тихо, но чувствовалось: он с трудом сдерживается, — знаешь, чего я сейчас тебе хотел бы?

— Ну.

— Я хотёл бы сейчас, — сказал Грачев ожесточенно, — чтоб немцы тебе руку или ногу оторвали.

— Ты что? — сказал Горбуль.

— Ничего, — сказал Грачев.

— Да за что же? — обиженно спросил Горбуль.

— Сдоба из тебя прет, — громко сказал Грачев. — Сдоба прет, а злости настоящей нету. И за смерть ты тут рассуждаешь глупо, как тетерев. Гордишься, что помереть готов. Нет, друг, ты сначала отработай за жизнь. — И, стуча кулаком по ладони, Грачев произнес раздельно и самоуверенно: — Ты заставь фрицев тебя не баш-на-баш брать. Ты до последней капли своей сними торгуйся. Они двух положат — ты третьего требуй. Третьего положат — четвертого гребни. Холмом себя накидают. И ты на этот холм ногами заберись да крикни: «Мало!» Да еще одного своими руками придуши. А когда уж в самое сердце войдет, вались и шорови на голову кому-нибудь свалиться, чтобы и этому, последнему, шею сломать. Вот тогда я тебе скажу: «Мое почтение».

С немецкой стороны глухо и отдаленно стукнуло орудие. Грачев прислушался к скрежещущему шелесту полета снаряда.

Снаряд разорвался рядом. Шалаш пошатнулся от удара воздуха.

Грачев стряхнул с колен листья и сказал:

— Если бы можно было глаз вынуть и снаряду в за-пал вставить, чтобы он немца, как зрячий, бил, я первый свой глаз вынул бы.

Горбуль нащупал спички, прикурил и тихо добавил:

— А мне так оба для такого дела не жалко. Я на бандуре лихо играю. Мой кусок хлеба всегда бы при мне был.

...В семь часов утра командир батареи приказал приготовить орудие к бою. Расчеты стали по своим местам

И в это мгновение люди изменились: они стали совсем другими.

Припавший к панораме Грачев был спокоен, как бактериолог, выслеживающий с помощью микроскопа чумную бациллу:

Горбуль, держа легко и нежно, как младенца, на согнутой в локте руке 43-килограммовый снаряд, с улыбкой глядел на командира.

Щелкнул открывшийся замок. Легко вошел снаряд. На лету подхватил Горбуль досыльник и дослал снаряд. Казенную часть заполнил стакан с зарядом. Снова щелкнул замок. Командир орудия взялся за боевой шнур. Рывок. И с гулом удаляющегося курьерского поезда снаряд помчался на запад.

Немецкая батарея два раза накрывала огнем нашу батарею. Рожицу сильно порубили осколки. На стволе орудия шипели мокрые тряпки. Звено бомбардировщиков пикировало на батарею, и земля, ушибленная бомбовыми разрывами, покрылась вокруг круглыми ямами воронок.

Горбуль во время налета не полез в щель. Он сидел на станине, широко расставив ноги, и отдыхал, пока вокруг него с отвратительным визгом летали осколки.

Но потом, когда расчет снова стал по местам, Горбуль оглянулся на правую станину, где он сидел, и, наклонившись, стал поспешно затирать ладонью кровь на ней. Поймав взгляд Грачева, он виновато объяснил:

— Мне шматком железа спину задело. Закапал маленько. Но я же вытер! — И в доказательство показал мокрую ладонь.

И с прежней бережной легкостью Горбуль подавал снаряды.

Обстрел позиций немцев длился час двадцать минут. За это время Горбуль подал сто десять снарядов: Несмотря на тяготившую его рану, на лице Горбуля блуждала веселая и счастливая улыбка.

В сумерки батарея снялась с огневых позиций и начала преследовать отступающего врага.

Когда батарея проезжала мимо того рубежа, который она накрывала своим огнем, бойцы с уважением и гордостью подмигивали друг другу, кивая на черные, вывороченные из земли развалины обугленных немецких блиндажей.

Горбуль, сидя на тракторе, дремал, склонив свое толстое доброе лицо на плечо Грачева, а Грачев, придерживая прыгающее на ухабах многопудовое тело своего приятеля, говорил язвительно и сурово:

— Ты бы храбрость выказывал, если бы она людей на чего-нибудь звала. А то уселся, ноги растопырил: вот, мол, какой я заговоренный, меня никакое железо не берет. И хорошо, что шваркнуло. Еще мало: надо бы сильнее, чтобы жиру у тебя поубавилось.

А Горбуль сонным, печальным голосом просил:

— Ну чего ты меня все шпыняешь? Чего?

Семь дней

Бронебойный снаряд ударил в корму танка.

Звеня, танк подпрыгнул, прополз несколько метров и остановился. Правая гусеница осталась лежать позади, плоская и вытянувшаяся.

От тяжкого сотрясения у Владимира Головина, командира машины, парализовало ноги, в ушах стоял шум падающего сухого песка. Ему хотелось кричать, когда отдавал команду, потому что голоса своего не слышал, но кричать, он знал, не нужно. В танке с заглушим мотором тихо, как в погребке. И поэтому он старался только тщательно выговаривать слова заплетающимся языком, не слыша себя.

По приказанию командира стрелок-радист Леонид Шкурко вылез через аварийный люк, прополз под брю-

хом машины с тросом туда, где лежала оторванная гусеница, и закрепил ее к танку.

Это все, что можно было сделать:

Менять разбитую траку под огнем противника невозможно.

Помощь товарищу в бою — святой и чистый закон для каждого советского воина.

К поврежденной машине подошел танк и взял ее на буксир.

Почва была болотистая и неровная. Буксируемая гусеница, подпрыгивая, перевернулась зубьями вниз, превратилась в борону и оборвала трос. Потом оборвался трос буксира танка. Но подошел еще один танк. Вдвоем они стали тянуть раненую машину.

Но машина все глубже и глубже, как огромный лемех, уходила в почву.

Немцы сосредоточили весь огонь с высоты по группе танков.

И есть еще один суровый, незыблемо-торжественный закон войны — это победа. Все остальное подчиняется ей. Танки не могли больше медлить. Они оставили безнадежно погрязшую машину и помчались на высоту в бой, потому что главное сейчас — это бить немцев.

Изувеченная машина стала дотом. Она поддерживала огнем атакующие подразделения.

К вечеру бой стих. Немцы защищали высоту ожесточенно и подтянули сюда все резервы. Наши подразделения обтекали высоту с флангов. Высота выдавалась по фронту в виде зеленого толстого носа. И на самом кончике этого носа сидел наш танк и бил беспощадно из пушки и пулемета туда, где обнаруживал передвижение немцев. Фашисты отвечали орудийным огнем.

Стрелок-радист Леонид Шкурко передавал по радио

на багарею координаты засеченных огневых точек врага. И наша батарея молотила по ним весомо и уверенно.

Воспользовавшись ночной темнотой, Головин выбрался из танка и прополз к нашей пехоте. Он попросил выделить пять бойцов для охраны танка, чтобы немцы не забросали его гранатами.

Действительно, немецкие автоматчики попытались это сделать. Но не успели. В броню танка уже стучала рука пехотинца.

— Ребята, бей немцев! — кричал связной-пехотинец и, улегшись возле танка, посылая трассирующую пулю, указывал направление. Вслед светящейся пуле летели шрапнельные снаряды и пулеметные очереди.

В течение двух дальнейших суток немцы вели непрерывный огонь по танку. Танк на огонь отвечал огнем. Танкисты угорали от пороховых газов до обмороков: экономя электроэнергию для радики, они не включали вентилятор.

В танке было душно, ядовито и жарко, как в топке. Хотелось пить, но воды двое суток никто не видел ни капли.

Механик-водитель Федор Немчинов лежал на сиденье, откинув на спинку голову, с бледным, потным лицом. Он болен. У него начался приступ малярии.

На третий день пошел дождь. Вода налилась в воронки от снарядов и мин, исковырявших всю землю вокруг машины. Танкисты черпали из воронок воду, как из колодца. Открыв люк, они поспешно выбрасывали ведро на веревке и, когда над головой пролетала очередь, снова прятались в башню.

Ночами, когда особенно сильно сказывалась усталость, потому что всем троим приходилось вести беспредельное наблюдение, Немчинов рассказывал отдельные детали вилетного им боя.

Он рассказывал, как видел младшего механика Дитика бежавшим впереди танка «Родина» по минному

цолу. Как Дидик указывал танку дорогу. Как вражеский снаряд упал рядом с Дидиком, и Дидик, приподнявшись, рукой, облитой кровью, показал на последний проход, в который должен был ринуться танк.

Он рассказывал, как Токмачев, усевшись на башню горящего танка, прицурившись, стрелял в окружавших его автоматчиков из пистолета, а потом, встав во весь рост, бросил пистолет на землю, прыгнул вниз на немецкого офицера и, повалив, душил его.

Он рассказывал, как политрук Ами Зямалов, пробравшись к брошенному полуобгоревшему танку, управляя одним орудием, разбил три немецких дзота.

И как-то тихо, спокойно, счастливо и всторженно становилось на сердце после этих рассказов. И было ясно, что ничего такого героического они сейчас не делают, находясь в заточении, и что всего-навсего они делают то, что им делать положено, как советским, честным воинам.

На четвертый день снарядов осталось несколько штук, патронов — несколько десятков.

Головин снова отправился к пехотинцам. Там ему сказали:

- Держитесь!

— Пока не загоримся, — гордо сказал Головин.

Десять бойцов поползли к танку, толкая впереди себя по два снаряда. Прощаясь с танкистами, каждый из них оставил по обойме патронов для пулемета.

— Не надо, нам хватит, — говорили танкисты.

— А мы себе достанем, пользуйтесь. — И пехотинцы уползали.

В это время немцы бросили на танк звено пикировщиков. Головин швырнул из башни дымовую гранату, чтобы прикрыть танк завесой.

Один из пехотинцев, приняв гранату за зажигательный снаряд, героически кинулся к гранате и сбросил ее ударом приклада в сторону.

Несмотря на разрывы бомб, над пехотинцем так смеялись и он был так смущен и обижен, что не пожелал лечь на землю, когда с отвратительным визгом в воздухе вокруг летали осколки.

На шестые сутки ночью связисты артиллерийского полка сумели провести к танку телефонную связь. Провод в отверстие для мушки пулемета шаровой установки, они соединили танк с командным пунктом батареи. Теперь Головин по телефону давал батарее ориентиры и целеуказания.

Снарядов было достаточно, и танкисты не прекращали огневого единоборства с пушками немцев.

Ночью, воспользовавшись перерывом боя, Головин написал письмо комиссару своей части.

«Товарищу Байлимову.

Здравствуйте, товарищ комиссар! Живы все. Немчинов болен. Прошу прислать машину или подводу за ним вечером и вместо него прислать другого водителя. У машины подбита гусеница, которая осталась у фрицев. Присутствия духа не теряем. Будем биться до конца. Товарищ комиссар, пришлите башенного стрелка. У меня его совсем нет.

Пехота вашей помощью очень довольна.

С комприветом Головин

19.8.42».

На исходе седьмых суток высота была взята. Танк сопровождал огнем нашу пехоту до последнего своего снаряда и патрона.

На рассвете пришли тягачи. Трактористы привезли гусеницу, помогли танкистам обуть машину, и утром танк уже снаряжался к новому бою.

...Партийное собрание, посвященное итогам боя, состоялось прямо на месте расположения разбитых и растоптанных немецких укреплений. Сидя на перевернутых толстых гаубичных немецких гильзах, три товарища.

похудевшие, с потемневшими от копоти лицами, слушали выступление комиссара Байлимова.

Комиссар в заключение сказал:

— Коммунисты нашего подразделения вели себя в этом бою безукоризненно. Наши товарищи Головин, Немчинов, Шкурко, сидя семь суток в поврежденном танке и непрерывно ведя из него огонь, действовали хорошо и правильно. Но иначе они себя держать и не могли. Иначе они не были б большевиками, не были б русскими воинами, иначе они оказались бы подлецами перед народом.

Защищая родину, не кричат о своих подвигах. Выполнять свой долг сурово и просто — закон для воина.

Мера твердости

Еще не смолкло тяжелое дыхание удаляющегося боя. И красное солнце, опутанное пыльными облаками, медленно падало на запад. И одиночные танки продолжали неторопливо сползаться к пункту сбора.

Березовая роща, иссеченная осколками, стояла совсем прозрачная. Стеариновые стволы деревьев резко выделялись в фиолетовых сумерках.

В березовой израненной роще собрались коммунисты десантной роты второго танкового батальона. После боя они обсуждали итоги его. И когда закончилось обсуждение, комиссар Шатров сказал:

— Товарищи, тут поступило одно заявление. Необходимо его разобрать.

Это заявление было от бойца Гладышева. Он обвинял другого бойца, Похвиснева, в трусости и измене.

Сам Гладышев отсутствовал: он находился в госпитале.

Когда Похвиснева попросили дать объяснение, он долго не мог начать говорить. Он выглядел больным, по-

давленный тяжестью обвинения и всем случившимся перед этим.

Прежде чем изложить суть дела, необходимо познакомиться с Гладышевым и Похвисневым.

Оба они работали у ручного пулемета. Гладышев — первым номером, Похвиснев — вторым. Оба они сибиряки и в равной степени гордились этим. Пожилые, степенные, они пользовались уважением у бойцов.

За время войны подразделение, в котором находились Гладышев и Похвиснев, потеряло одиннадцать человек; шесть из них, хотя и погибли, продолжали существовать в памяти бойцов. О них говорят до боя, после боя, на них ссылаются, когда нужно найти решение, когда, казалось бы, ничего уже решать нельзя.

Имена остальных пятерых забыты. Они были тихими людьми и погибли, не вызвав в сердце ничего, кроме жалости.

Так уж водится на войне. Одни, умирая, остаются жить в нас, другие уходят навсегда бесследно. Эти обычно предпочитают смерть буйной драке до последнего вздоха. Ленивые души расстаются с телом легко, не то что яростные и непокорные.

Гладышев предпочитал всем видам оружия гранаты «Р-1». Он доставал их где только можно и запасался впрок.

Запалы он носил в боковых карманах гимнастерки, как газыри или как вечные перья, зажимая ткань плоскими рычагами взрывателя.

Высокий, худой, сутулый, с темными, глубоко впавшими глазами, с руками, длинными от природы и от того, что ходил немного сгорбившись, он напоминал цыгана-лошадника.

В жизни своей он переменял много профессий, объездил страну, участвуя на всех великих стройках, много повидал, вытерпел. Невзгоды фронтовой жизни переносил с легкостью бывалого человека.

Он умудрялся за ночь выстирать портянки и просушить на своем теле, обмотав вокруг бедер. Когда, казалось, на земле нет сухого места для ночлега, он находил его. Брился он одним единственным лезвием безопасной бритвы, правя его о внутренние стенки граненого стакана.

На привале вокруг его котелка всегда собирались бойцы. Гладышев умел говорить едко, насмешливо, умно.

— Я, когда по тылам в рейд ходил, с дамочкой одной в колхозе познакомился, симпатичная такая. — И, сбрасывая на землю пену с бурно кипевшей каши, он добавил: — Я ей обещал, как следующий раз приду, два килограмма мышьяку привезти.

— А зачем ей мышьяк?

Гладышев подул на ложку, попробовал кашу и спокойно сказал:

— Немцев травить, вот зачем. — И раздраженно добавил: — Народ неаккуратно с немцами драться хочет. Это мы аккуратно воюем. Я говорю командиру: «Разрешите на трофейном танке группку в их одежде по тылам соорудить?» А он говорит — неудобно. Неудобно. — это когда немец по твоей земле живой ходит. А остальное все удобно.

— А вы сколько, товарищ Гладышев, за войну человек убили?

— Нисколько, — сказал Гладышев.

— А как же в «боевом листке» написано..?

— Так то же фрицы, — сказал Гладышев щурясь: А разве ж они люди?

...Однажды бойцы шли по дымящейся пылью дороге. На черной груде камней сидела старая женщина, скорбная и неподвижная. Похвиснев отделился от бойцов, пошел к женщине, и все видели, как он снял с плеч вещевой мешок и стал его развязывать.

Через несколько дней проверяли НЗ. У Похвиснева

НЗ не оказалось. Он сказал, что НЗ съел, и получил за это взыскание.

Вечером Гладышев сказал ему:

— Ты подло сделал. Знала б старуха, чего ты ей даешь, она бы тебе этой консервной банкой башку расшибла. Видел, чего народ терпит. И он знает, за что терпит, за что тебе свой последний кусок хлеба отдает. Ты доброго из себя не строй. Он от тебя не доброты, а злости требует. Мне банки консервов не жалко, мне обидно, что у тебя башка не в ту сторону работает.

Похвиснев недоуменно пожал плечами. Он был из тех спокойных, рассудительных людей, которые могут мириться с любыми неудобствами, но никогда не пожелают добровольно усугубить их, если не будут вынуждены к этому влиянием на них людей более жесткой, прямой и сильной воли.

И доброта его была такая же ленивая. Он предпочитал душевный покой жестокому упорству, направленному к одной цели.

В десантники Похвиснев пошел потому, что пошел Гладышев. Он привязался к Гладышеву и не хотел с ним расставаться, хотя трудно сказать, чего в этом влечении было больше — сердечной привязанности или корысти.

Неутомимый и деятельный, Гладышев сам не замечал, как в пылу своей неукротимой энергии он частенько делал то, что полагалось делать Похвисневу.

Гладышев был слишком нетерпелив. И когда он видел, как медленно возится с топором или лопатой Похвиснев, он вырывал у него инструмент и заканчивал работу сам.

Сознательно или несознательно Похвиснев использовал яростный задор Гладышева — трудно сказать. Только жили они оба дружно, и Гладышеву было удобно, что Похвиснев ему ни в чем не перечил.

Как-то отбирали добровольцев на одну опасную операцию. Похвиснева не оказалось в числе желающих. Гла-

дышев ушел с другим вторым номером. Потом Гладышев спросил Похвиснева, почему его не было с ним.

Похвиснев сказал:

— Я человек семейный, зачем мне зря на рожон лезть.

Хотя Похвиснев ни разу не спрашивал Гладышева, есть ли у него семья, по замашкам Гладышева он был твердо убежден, что тот холост.

Гладышев сощурился и, глядя на Похвиснева с гадливым выражением на лице, какое у него обычно бывало, когда он, лежа у своего пулемета, целился, резко сказал:

— Если бы твоих ребят немцы зарезали, хорошо было бы. У таких отцов их на глазах резать надо.

Впрочем, они быстро помирились: Гладышев не был злопамятным, а Похвиснев вообще не любил ссориться.

Теперь — о той операции, итоги которой обсуждали коммунисты десантного подразделения и события которой послужили поводом для заявления Гладышева, обвинявшего своего друга в таком тяжелом преступлении, как трусость.

В 6.20 29 августа танки с десантниками прямо с марша удачно миновали проходы, проделанные саперами в минных полях. Прогнав проволочные заграждения, они сокрушили передний край обороны огнем и ворвались в населенный пункт, где располагались вторые немецкие эшелоны.

Десантники, покинув танки, в центре населенного пункта вступили в бой с немецкой пехотой.

Гладышев, еще сидя на танке, сорвал предохранительную чеку с гранаты «Р-1». Спрыгнув на землю, он остановился, ища глазами, куда бы ее метнуть.

Но тут из дверей каменного дома, повидимому бывшей нефтелавки, выскочил дюжий немецкий солдат. Увидев Гладышева, он кинулся на него.

Гладышев не мог выпустить из рук гранату, потому что она тогда взорвалась бы. Бросить ее в немцев — тоже нельзя: осколками поразило бы его самого. Под-

пустив немца, Гладышев кулаком, утяжеленным зажатой в нем гранатой, ударил немца по голове. Немец упал.

От сильного удара Гладышев разбил себе пальцы. Боясь, как бы ослабевшие от боли пальцы не разжались сами собой, он быстро перехватил левой рукой гранату и метнул ее внутрь каменного здания, когда уже взрыватель щелкнул.

Все это произошло так быстро, что Похвиснев, держа в обеих руках ящички с дисками, не успел даже выпустить их, чтобы прийти на помощь.

Крикнув Похвисневу, Гладышев ворвался внутрь здания, держа новую гранату в левой руке. Но там уже все было кончено.

Примостившись возле пробитого над самым полом квадратного отверстия в стене,—сюда, наверное, раньше вкатывали с улицы бочки с керосином,—Гладышев открыл огонь.

Похвиснев, сидя на корточках, подавал ему диски.

Немцы, пропустив наши танки, попытались встретить идущую за ними пехоту огнем. Но десантники не давали немцам сосредоточиться в траншеях, пересекающих поселок для круговой обороны.

Тогда немцы стали стрелять из противотанковой пушки по зданиям, где закрепились наши автоматчики.

От прямых попаданий бронебойных снарядов обрушилась кровля нефтелавки.

Огромная, двутавровая железная балка, поддерживавшая свод, рухнула вниз вместе с обломками стропил.

Когда оглушенный Похвиснев открыл глаза и душная пыль рассеялась, он увидел, что двутавровая железная балка придавила вытянутые ноги Гладышева. Кровь, пропитывая обломки извести, делала их красными, как куски мяса.

Похвиснев сначала подумал, что Гладышев убит.

Но почти в то же мгновение пыльный ствол пулемета

затрясся, и длинное трепетное пламя протяжной очереди забилося на конце ствола.

Похвиснев вскочил и попытался поднять балку. Но он не смог даже пошевелить ее, заваленную обломками каменной стены, бревнами стропил. Вид неестественно, ко-со, вверх торчащей из-под обломков голени Гладышева с обнаженной розовой и чистой костью вызвал у него тошнотную тоску отчаяния.

И вдруг Гладышев, не поворачивая головы, сипло и повелительно произнес:

— Подавай!

Похвиснев бросился к коробке с дисками, но не мог открыть ее, так у него тряслись мокрые пальцы.

— Подавай! — со стоном повторил Гладышев и выругался.

Этот подавленный стон словно образумил Похвиснева. Он вскочил, бросился к дверям и живо проговорил:

— Степа, друг, ты потерпи, я сейчас. — И выбежал на улицу.

— Подавай, сволочь! — хрипел Гладышев, сясь до-тянуться до коробки с дисками.

Похвиснев бежал, не обращая внимания на визжащие вокруг него пули. Мина разорвалась у самых его ног. Осколки каким-то чудом перелетели через его голову.

Он бежал без пилотки, с белым от известковой пыли лицом и слезящимися, невидящими глазами.

Сослепу он провалился в траншею и упал на немецкого пулеметчика. Борясь с ним, он задушил его голыми руками. Выбравшись, он продолжал бежать дальше, не замечая, что лицо его разрезано ножом убитого пулеметчика.

Когда Похвиснев вернулся с бойцами в здание, где он оставил Гладышева, он увидел Гладышева, лежащего лицом на теплых расстрелянных гильзах. Коробки с дисками ему удалось подтянуть к себе, набросив на них поясной ремень.

Заметив Похвиснева, Гладышев повернулся к нему почерневшим лицом и хотел плюнуть. Но снова в изнеможении упал на расстрелянные гильзы.

Бойцы не смогли приподнять балку. Только с помощью проходящего мимо тягача им удалось освободить раздавленные ноги Гладышева.

Вот все, как было.

Теперь на партийном собрании мы разбираем заявление Гладышева.

Лунный едкий свет проникает сквозь редкие белые стволы деревьев, как белое зарево осветительной ракеты.

А Похвиснев—вот он стоит перед нами подавленный, и в глазах у него слезы. И мы знаем, что он вовсе уж не такой плохой человек.

Но такой ли он, как те наши шесть незримо присутствующих товарищей, с делами которых мы привыкли всегда сравнивать свои поступки?

Нет, он совсем не такой.

Любимый товарищ

— Вы извините, товарищ, это место занято.

Невидимый в темноте человек зашуршал соломой и тихо добавил:

— Это нашего политрука место.

Я хотел уйти, но мне сказали:

— Оставайтесь, куда же в дождь? Мы подвинемся.

Гроза шумела голосом переднего края, и когда редко и методично стучало орудие, казалось, что это тоже звуки грозы. Вода тяжело шлепалась на землю и билась о плащ-палатку, повешенную над входом в блиндаж.

— Вы не спите, товарищ?

— Нет, — сказал я.

— День у меня сегодня особенный, — сказал невидимый человек.—Партбилет выдали, а его нет.

— Кого нет? — спросил я устало.

— Политрука нет. — Человек приподнялся, опираясь на локоть, и громко сказал: — Есть такие люди, которые тебя на всю жизнь согревают. Так это он.

— Хороший человек, что ли?

— Что значит хороший! — обиделся мой собеседник. — Хороших людей много. А он такой, что одним словом не скажешь.

Помолчав, невидимый мой знакомый снова заговорил:

— Я как в первый бой, помню, пошел, стеснялся. Чудилось, все пули прямо в меня летят. Норовил в землю, как червяк, вползти, чтобы ничего не видеть. Вдруг, слышу, кто-то смеется. Смотрю — политрук. Снимает с себя каску, протягивает: «Если вы, товарищ боец, такой осторожный, носите сразу две: одну на голове, а другой следующее место прикройте. А то вы его очень уж выставили». Посмотрел я на политрука... ну, и тоже засмеялся. Забыл про страх. А после уж сам научился забывать бояться. Но все-таки, на всякий случай, ближе к политруку всегда был, когда в атаку ходили. Может, вам, товарищ, плащ-палатку под голову положить? А то неудобно.

— Нет, — сказал я, — мне удобно.

— Однажды так получилось, — продолжал человек. — Хотел я немца штыком пригвоздить. Здоровенный очень попался. Перехватил он винтовку руками и тянет ее к себе, а я к себе. Чувствую — пересилит. А у меня рука еще ранена. И так тоскливо стало, глаза уж закрывал. Вдруг выстрел у самого уха. Политрук с наганом стоит, немец на земле лежит, руки раскинув. Политрук кричит мне: «Нужно в таких случаях ногой в живот бить, а не в тянучки играть! Растебялись, товарищ? Эх, вы!..» И пошел политрук, прихрамывая, вперед, а я виновато за ним.

Человек замолчал, прислушиваясь к грозе, потом негромко сказал:

— Дождь на меня тоску наводит. Вот, случилось, загру-

стил я. От жены писем долго не было. Ну, мысли всякие. Говорю ребятам со зла: «Будь ты хоть герой, хоть кто, а им все равно, лишь бы потеплее да поласковее». Услышал эти мои слова политрук, расстроился, аж губы у него затряслись. Долго он меня перед теми бойцами срамил. А через две недели получаю я от своей письмо. Извиняется, что долго не писала: на курсах была. Теперь она милиционером стоит на моем посту. Угол Пролетарского и Садовой. А в конце письма приписка была: просила передать привет моему другу, который в своем письме к ней упрекал ее за то, что она мне не писала. И назвала она фамилию политрука. Вот такая история.

Человек замолчал, помигал в темноте, затягиваясь папирской, потом задумчиво произнес:

— Ранили политрука. Нет его. В санбате лежит. А нам всем кажется, что он с нами.

Дождь перестал шуметь. Тянуло холодом, сладко пахнущей сыростью свежих листьев. Человек поправил солону на нарах и сказал грустно:

— Ну, вы спите, товарищ, а то я вам, видно, надоел со своим политруком.

...Когда я проснулся, в блинчаже уже никого не было. На нарах, где было место политрука, у изголовья, стоял чемодан, на нем аккуратно свернутая шинель и стопка книжек.

Это место занято.

И понял я, что я тоже никогда не забуду, на всю жизнь, этого человека, хотя никогда не видел его и, может быть, никогда не увижу.

Рассказ о любви

На войне много тяжелого и страшного. Но живое и радостное чувство любви вечно живо. И когда люди отдают свою жизнь за высокое и чистое, хотелось бы чтобы и любовь здесь у нас, на фронте лиричная укра-

шений мирной жизни, была такой же высокой и чистой.

Леля, — так звали ее все, — полная блондинка, с мягким и добрым лицом, не имела ни одной черты в характере, которая могла бы свидетельствовать о волевых качествах ее натуры. Она смеялась, когда было смешно, сердилась и краснела, когда говорили скабрзности, плакала втихомолку, когда у ее раненого подымалась температура, и целовалась, прощаясь с выздоравливающими.

Но ни один из раненых, — а раненые очень наблюдательны, — не мог бы сказать, что у Лели с кем-нибудь из персонала госпиталя были близкие отношения.

И когда однажды Леля сказала громко молодому врачу: «Слушайте, зачем вы мне дарите одеколон, ведь я же не бреюсь!» — даже тяжело раненые усмехнулись, радуясь, что Леля и этого молодого, здорового, красивого парня поставила на свое место.

Тут уж ничего не поделаешь. Когда много мужчин и есть одна женщина, мужчины начинают любить эту женщину бескорыстно и чисто, пока она сама остается такой.

...Лейтенанта Ваню Ломджария привезли ночью. Куски раздробленного металла до рассвета вынимал хирург из его обескровленного тела. Через неделю операцию повторили и вынули еще несколько осколков.

Ни до операции, ни во время ее, ни после Ломджария не проронил ни стона, не выговорил ни слова.

«Или контуженный, или по-русски говорить не умеет», решила Леля. И, ухаживая с рвением за тяжело раненым, она беззастенчиво произносила ласковые, нежные слова, которые никогда бы не решилась сказать никому другому.

Ломджария лежал недвижимо, крепко стиснув синие губы, и только глаза его, большие, темные, горящие, говорили о переживаемой боли.

Но стоило Леле погладить его худую руку, начать говорить нежные слова, все, какие она знала, как в глазах Ломджария пропадал желтый, дикий огонь боли и они озарялись другим, глубоким, влажным, почти здоровым блеском.

Три недели пролежал Ломджария в госпитале, и Леля привыкла разговаривать с молчаливым раненым доверчивым, ласковым шопотом, как еще девочкой она разговаривала со своей куклой.

Когда врач объявил, что выздоровевший лейтенант Ломджария просит с ним проститься, Леля спокойно вышла на улицу.

Конечно, она не узнала в этом стройном военном своего раненого.

Беспомощные, как дети, они сразу становились взрослыми, эти раненые, после того, как выздоравливали.

Леля подошла к Ломджария и протянула ему руку. Он взял ее руку в свою и, горячо и жадно сжимая, вдруг страстно проговорил:

— Леля, я люблю вас...

Леля растерялась, покраснела и глупо, — так думала она потом, вспоминая свое смятение, — спросила:

— Развѣ вы говорите по-русски?

— Леля, — сказал нетерпеливо лейтенант, — я не могу больше задерживать машину. Вы слышите, я люблю вас.

— Ну, что же, — сердито сказала тогда Леля, я к вам тоже неплохо отношусь, но это никакого отношения не имеет к тому, о чем вы думаете.

Шофер нетерпеливо нажимал сигнал. Ломджария оглянулся на машину и, потянув Лелину руку к себе, сказал упрямо:

— Я люблю вас, слышите вы?

Резко повернувшись, он побежал к машине, а когда

машина тронулась и он стал махать рукой. Леля не ответила. Она была возмущена.

Леля быстро забыла Ломджария, и попрежнему ее доброе, мягкое лицо улыбалось всем раненым, и всем раненым нравилась эта простая, кроткая, такая заботливая девушка, и она любила их всех до тех пор, пока они не выздоравливали.

Прошло три месяца. Леля, приняв дежурство, обходила палату. Вдруг она почувствовала, что кто-то смотрит на нее. И когда она обернулась, увидела на койке № 4 нового раненого с толсто забинтованной головой. И она сразу узнала эти темные горящие глаза.

И опять Ломджария все время молчал, и Леля снова говорила шопотом те нежные, ласковые слова, какие, она знала, умаляют боль, придают силу ослабевшим.

Ломджария, стиснув обескровленные губы, слушал эти слова, и по его лицу нельзя было понять, слышит он их или нет.

И вдруг он неожиданно сказал:

— Леля...

Леля уронила термометр и покраснела, ожидая снова тех волнующих слов.

Но Ломджария сказал другое.

— Леля, — сказал он, — мне стыдно, что я сказал вам тогда эти слова. Я не имел права их произносить.

А Леля, раскаяваясь, что так глупо разбила хороший термометр, и сердясь на свое волнение, которого, она считала, у нее не могло быть, раздраженно сказала:

— Ну и хватит...

Ломджария откинулся на подушку и ничего не ответил.

Несколько дней Леля старалась не задерживаться у койки Ломджария и обращалась с ним вежливо и сдержанно.

Но потом как-то, поправляя у него на голове повязку, она сказала со странной нежностью:

— Вот видите, сколько мне забот с вами. Воюете видно, неосторожно?

Лейтенант холодно спросил ее:

— Так вам бы хотелось, чтоб я дрался лениво, как корова?

— Нет, — сказала Леля задумчиво и невольно положив свою руку на руку Ломджария. — Деритесь, пожалуйста, так, как вы дрались до сих пор, но, может быть, хоть чуточку осторожней. — И смутилась.

А Ломджария, гневно блестя глазами, сказал:

— Ну, как драться, вы меня не учите, гражданочка. Я сам знаю, как мне надо драться.

Потом лейтенант выздоровел. Он вежливо простился с Лелей и не произнес ей ни одного из тех волнующих и страстных слов, которые он говорил ей тогда, вначале, и Леля вернулась в палату растерянной и огорченной.

Вечером у Лели были заплаканные глаза.

И раненые, — ведь раненые очень наблюдательны, — поняли, что Леля любит лейтенанта Ломджария, и не так, как она любит их, а иначе. И все они сочувствовали Леле и радовались, что на свете существует такая большая, чистая любовь, о которой нельзя разговаривать.

Разведчик Захар Сипягин

С опухшим лицом и затекшим, ушибленным глазом Сипягин ходит по блиндажам и жалобно спрашивает:

— Ребята, лишней веревочки ни у кого нет?

— Да тебе только вчера старшина новую выдал.

Сипягин вздыхает, трогает осторожно пальцем рассеченную бровь, залепленную бумажкой, и грустно объясняет:

— Увели веревочку утром в штаб. Просил—верните, да разве вернут!

Сипягин садится на пень и терпеливо ждет, чтобы его угостили закурить. Свой табак он скверно бережет, потому что там, где он чаще всего бывает, достать его негде.

— Не напасешься на тебя веревок, Сипягин, — говорят ему бойцы, — больно уж ты лих.

Сипягин, скромно потупив глаза, тихо замечает:

— В нашем деле без веревочки обойтись невозможно.

Все давно сменили зимнее обмундирование на летнее, только один Сипягин в ватнике и в стеганых штанах; pilotка его натянута чуть ли не до ушей. Несмотря на теплую одежду, он все время кашляет и чихает, как простуженный.

— Кто это тебе, Сипягин, такую блямбу поднес?

— Связист ихний. — Сипягин осторожно выдыхает махорочный дым под полу стеганки и, подняв глаза, поясняет: — Я этого фрица в болоте возле кабеля двое суток ждал. Утечку сделал, а он, чорт, все не шел. Стосковался я за ним, в воде лежа, прямо не знаю как. Ну, когдашиб, стал мешок на башку натягивать. Он мне затылком и стукнул. Дело такое, — добавил он грустно, — обижаться не приходится.

Бойцы хохочут, потом один из них спрашивает:

— Ты, говорят, фрица водкой угощал?

— Было, — соглашается Сипягин. — В спешке повреждение сделал. Боялся, как бы не замлел, ну и угостил. — Затоптав окурки, Сипягин обвел глазами бойцов и спросил: — Так как же с веревочкой, ребята?

Веревочка, конечно, для Сипягина всегда найдется. Но бойцам не хочется так скоро отпускать от себя этого бывалого и храброго человека.

— А если их двое или трое, тогда как?

— Мне много не надо, — говорит серьезно Сипягин. — Выберу, какой поразвитей, ну, и сберегу.

— А остальные куда же?

— Это как придется. — И Сипягин невольным дви-

жением потрогал заткнутый за пояс нож. Им он и орудует, бесшумно и точно. — Стрелять — не всегда хорошо, — говорит Сипягин. — Главное — надо уметь подходящего немца выбрать, а то вот недавно прельстился на одного, думал: очки золотые, так он что-нибудь такое... Приволок, а оказывается, при похоронной команде служит — поп ихний. Теперь я при штабе писаря себе выбрал. Ходит в рощу, щавель собирает на похлебку. Так я его и побеспокою.

Сипягину приносят веревку. Он долго пробует ее прочность, потом свертывает, кладет в карман, кивает бойцам и уходит во-свояси своей медленной и осторожной походкой.

Провожая глазами удаляющегося Сипягина, один из бойцов сказал:

— Дерзкий человек, ничего не скажешь.

— Немецкую огневую наличность, как свою собственную, знает, — заметил другой.

— «Языка» он, как профессор, выбирает. Всяким не интересуется. Серьезный разведчик, — добавил третий.

И потом задумчиво произнес:

— А видать по всему, завтра Сипягин опять придет новую веревку просить. Не сорвется у него сегодня ночью этот писарь, никак не сорвется!

Март—апрель

Издранный комбинезон, прогоревший во время ночевок у костра, свободно болтался на капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от въевшейся грязи морщины делали лицо капитана старческим.

В марте он со специальным заданием прыгнул с парашютом в тылу врага, и теперь, когда снег стаял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу в набухших водой валенках было очень тяжело. Первое время

он шел только ночью. Днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.

Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром лесу, голодными глазами косился он на белые стволы берез, кору которых—он знал—можно истолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус.

Размышляя в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к достойному и мужественному спутнику.

«Принимая во внимание чрезвычайное обстоятельство,—думал капитан,—вы можете выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переменить и обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше положение. И, как говорится, вопль брюха заглушает в вас голос рассудка». Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, пока не уставал, или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, все понимает, добрый, душевный. Лишь изредка капитан грубо прерывал его: «Трепаться-то трепись, но по сторонам не зевай». Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжни, оттаявшей и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищей. Капитан в отряде считался человеком мало симпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов.

Возвращаясь после задания, капитан старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:

— Побриться бы надо, а то морда, как у ёжа,— и поспешно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке; к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек,— говорили о нем, — скучный.

Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья была уничтожена немцами. Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебая суп и держа перед глазами письмо, он сообщил:

— Жена пишет.

Все переглянулись, многие — разочарованно, потому что хотелось верить: капитан потому такой нелюдимый, что его постигло несчастье. А несчастья никакого не было.

А потом капитан не любил скрипки. Звук смычка действовал на него так же, как на иных действует звук лезвия ножа по стеклу:

... Голый и мокрый лес. Толкая почва, ямы, заполненные грязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливые брести по этим одичавшим местам одинокому, усталому, измученному человеку:

Но капитан умышленно выбирал эти дикие места, где встреча с немцами менее вероятна. И чем заброшеннее и забытее глядела земля, тем поступь капитана была увереннее.

Вот только голод начинал мучить. Капитан временами плохо видел. Он останавливался, тер глаза и, когда это не помогало, бил себя кулаком в шерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообращение.

Спускаясь в балку, капитан наклонился к крохотному водопаду, стекавшему с ледяной бахромы откоса, и стал пить воду, ощущая тошнотный, пресный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хоте

лось,—ниль только для того, чтобы заполнить пустоту в тоскующем желудке.

Вечерело. Тощие тени ложились на мокрый снег. Стало холодно. Лужи застывали, и лед громко хрустел под ногами. Мокрые ветви обмерзли; когда он отводил их рукой, они звенели. И как ни пытался капитан идти бесшумно, каждый шаг сопровождался хрустом и звоном.

Взошла луна. Лес засверкал. Бесчисленные сосульки и ледяные лужи, отражая лунный свет, горели холодным огнем, как пилястры на колоннах станции метро «Дворец Советов».

Где-то в этом квадрате должен был находиться радист. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам? Вероятно, радист выкопал себе логовище не менее тайное, чем нора у зверя.

Не будет же он ходить и орать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?»

Капитан шел в чаще, озаренный ярким светом; валенки его от ночного холода стали тяжелыми и твердыми, как каменные тумбы.

Он злился на радиста, которого так трудно разыскать, но еще больше разозлился бы, если радиста удалось обнаружить сразу.

Запавшись о валежник, погребенный под заскорузлым снегом, капитан упал. И когда с трудом подымался, упираясь руками в снег, за спиной его раздался металлический щелчок пистолета.

— Хальт! — сказали ему тихо. — Хальт!

Но капитан странно вел себя. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шопотом, ему приказали на немецком языке поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:

— Если человек лежит, при чем тут «хальт»? Нужно сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув его в шапку, — тогда выстрел будет глухой, тихий. А кроме того, немец кричит «хальт» громко, чтобы услы-

шал сосед и в случае чего пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку... — И капитан поднялся.

Пароль произнес он одними губами. Когда получил отзыв, кивнул головой и, взяв на предохранитель, сунул в карман синий «зауэр».

— А пистолетик все-таки в руке держали!

Капитан сердито посмотрел на радиста.

— Ты, что же, думал, только на твою мудрость буду рассчитывать? — И нетерпеливо потребовал: — Давай показывай, где тут твоё помещение!

— Вы за мной, — сказал радист, стоя на коленях в неестественной позе, — а я поползу.

— Зачем ползти, в лесу спокойно?

— Нога у меня обморожена, — тихо объяснил радист, — болит очень.

Капитан хмыкнул и пошел вслед за ползущим на четвереньках человеком. Еще не задумываясь, он спросил:

— Ты, что ж, босиком бегал?

— Болтанка сильная была, когда прыгал. У меня валенок и слетел... еще в воздухе.

— Хорош! Как это еще ты штаны не потерял. — И добавил: — Выбравшись теперь с тобой отсюда!

Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:

— Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сама доберусь.

— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Засекли немцы рацию, понятно? — И, вдруг наклонившись, капитан тревожно спросил: — Постой, фамилия как, твоя, лицо что-то знакомое.

— Михайлова.

— Лихо! — пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно. — Ну, ладно, ничего, как-нибудь разберемся. — Потом вежливо осведомился: — Может, вам помочь?

Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по самые плечи в снег.

Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайлову у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе, — высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо поднятой головой и ярким, большим и точно очерченным ртом, от которого трудно отвести глаза, когда она говорила.

У нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза, — неприятная не потому, что видеть такие глаза противно: напротив, большие, внимательные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших зрачков, они были очень хороши. Но плохо то, что пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.

А потом эта манера носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их на воротник шинели!

Сколько раз говорил капитан:

— Подберите ваши волосы. Военная форма — это не маскарадный костюм.

Правда, занималась Михайлова старательно. Оставаясь после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.

Начальник курсов сделал замечание капитану за то, что он так мало уделяет внимания Михайловой.

— Ведь она же хорошая девушка.

— Хороша для семейной жизни. — И неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ начальник, нашему брату никаких лишних крючков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственноручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожа-

леет себя! Разве можно себя, такую...—И капитан сбился.

Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радисток.

Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые остекленные веранды, красные дорожки внутри, яркая лакированная мебель — вся эта обстановка, не потерявшая еще всей прелести мирной жизни, располагала по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно было подумать, что это обычный подвыходной день в солидном подмосковном доме отдыха.

Стучали зенитки, и белое пламя прожекторов копалось в небе своими негнушимися щупальцами, — но об этом можно было не думать.

После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной с поджатыми ногами и книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленным на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой девушки с красивым, спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее, тонкие и белые, — все это не вязалось с техникой подрывного дела или нанесением по тырсе ударов ножом с ручкой, обтянутой резиной.

Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала и вытягивалась, как это и полагается при появлении командира.

Жаворонков, небрежно кивнув, проходил мимо. Опять раздражающее негодование появлялось в нем. Этот сильный человек с красным сухим лицом спортсмена, правда, немного усталым и грустным, был жестким и требовательным и к себе самому.

* * *

Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он имел на это право. Холодной болью застыла в сердце капитана смерть его жены и ребенка: их раздавили в погре

ничном поселке 22 июня железными лапами немецкие танки.

Капитан стыдился своего горя. Он не хотел, чтобы его несчастье служило причиной его бесстрашия. Поэтому он обманывал своих товарищей. Он сказал себе: «Жену мою, ребенка не убили, они живы. Я не мелкий человек. Я такой же, как все. Я должен драться спокойно». И он не был мелким человеком. Всю свою жизненную силу он сосредоточил на чувстве мести. Таких людей, с обгаренным сердцем, гордых, скорбящих и сильных, немало на этой войне.

Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточили твое сердце! И вот сейчас, шагая за ползущей радисткой, капитан старался не размышлять ни о чем, что могло бы помешать ему обдумать свое поведение. Он голоден, слаб, измучен длинным переходом. Конечно, она рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что он никуда не годится.

Сказать все? Ну, нет! Лучше заставить ее как-нибудь подтянуться, а там он соберется с силами и, может быть, как-нибудь удастся...

В отвесном скате балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Жесткие корни деревьев свисали над головой, то тощие, как шпагат, то перекрученные и жилистые, похожие на пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал нишу снаружи. Днем свет проникал сюда, как в остекленную оранжерею. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратный ящик радиации, спальный мешок, лыжи, прислоненные к стене.

— Уютная пещерка, — заметил капитан. И, похлопав рукой по подстилке, сказал: — Садитесь и разувайтесь.

— Что? — гневно и удивленно спросила девушка.

— Разувайтесь. Я должен знать, куда вы ходите с такой ногой.

— Вы не доктор. И потом...

— Знаете, — сказал капитан, — договоримся с самого начала — меньше разговаривайте.

— Ой, больно!

— Не пищите, — сказал капитан, ощупывая ступню ее, вспухшую, обтянутую глянцевитой синей кожей.

— Да я же не могу больше терпеть.

— Ладно, потерпите, — сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.

— Мне не нужно вашего шарфа.

— Вонючий носок лучше?

— Он не вонючий, он чистый.

— Знаете, — снова повторил капитан, — не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?

— Нет.

Капитан поднял руку, оторвал кусок тонкого корня, перевязал им ногу, обмотанную шарфом, и объявил:

— Хорошо держится!

Потом он вытащил лыжи наружу и что-то мастерил там, орудуя ножом. Вернулся, взял рацию и сказал:

— Можно ехать.

— Вы хотите тащить меня на лыжах?

— Я этого, положим, не хочу, но приходится.

— Ну что же, у меня другого выхода нет.

— Вот это правильно, — согласился капитан. — Кстати, у вас пожевать что-нибудь найдется?

— Вот, — сказала она и вытащила из кармана полумантый сухарь.

— Маловато.

— Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней...

— Понятно, — сказал капитан. — Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.

— Можете оставить ваш шоколад себе.

— А я угощать и не собираюсь. — И капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рации.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи.

И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее на саниах, сделанных из лыж), помогала ему, отталкиваясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что, казалось, застревало в глотке.

«Если я ей скажу, что ни к чорту не гожусь, она запаникует. Если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно».

Капитан посмотрел на часы и сказал:

— Не худо бы выпить горячего.

— У вас есть водка?

— Ладно, — сказал капитан, — сидите. Водки я вам все равно не дам.

Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет невидимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полузарядом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветви, поднес спичку.

Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер банку из-под тола, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернул его в платок и, положив на пень, стал бить по сухарю черенком ножа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.

— Вкусно? — спросила девушка.

— Почти как кофе «Здоровье», — сказал капитан и протянул ей банку с коричневой жижей.

— Я потерплю, не надо, — сказала девушка.

— Вы у меня еще натерпитесь, — сказал капитан. — А пока — не морочьте мне голову всякими штучками, пейте.

К вечеру ему удалось убить старого грача.

— Вы будете есть ворону? — спросила девушка.

— Это не ворона, а грач, — сказал капитан.

Он зажарил птицу на костре.

— Хотите? — предложил он половинку птицы девушке.

— Ни за что! — с отвращением сказала она.

Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:

— Пожалуй, это будет справедливо. — И съел всю птицу.

Закурив, он повеселел и спросил:

— Ну, как нога?

— Мне кажется, я смогла бы пройти немного, — сказала девушка.

— Это вы бросьте!

Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала.

На рассвете капитан остановился в овраге.

Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина. Капитан выгреб из ямы снег, наломал ветвей и постелил на них плащ-палатку.

— Вы хотите спать? — спросила, проснувшись, девушка.

— Часок, не больше, — сказал капитан. — А то я совсем забыл, как это делается.

Девушка начала выбираться из своего спального мешка.

— Это еще что за номер? — спросил капитан, приподымаясь.

Девушка подошла и сказала:

— Я лягу с вами, так будет теплее. А накроюсь мешком.

— Ну, знаете... — сказал капитан.

— Подвиньтесь, — сказала девушка. — Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу... Вам неудобно?

— Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут, ни-хоть хочется и вообще...

— Вы спать хотите — ну и спите. А волосы вам мои не мешают.

— Мешают, — вяло сказал капитан и заснул.

Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков.

Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула свою руку под его голову.

С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и поставила ладонь, защищая лицо спящего. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.

Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.

— У вас седина здесь, — сказала девушка. — Это после того случая?

— Какого? — спросил капитан, потягиваясь.

— Ну, когда вас расстреливали.

— Не помню, — сказал капитан и зевнул. Ему не хотелось вспоминать про этот случай.

Дело было так. В августе капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов. Его контузило взрывной волной, обожгло пламенем. Он лежал в тлеющей черной одежде, когда немецкие санитары подобрали его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь. Он пролежал три недели, притворяясь глухим. Перед отправкой в тыл раненых осматривала немецкая врачебная комиссия. Капитана вместе с группой симулянтов приговорили к расстрелу. Казнь была отменена в последний момент. Их посадили на транспортные самолеты и отправили под Ельню. Здесь их погнало на русских в «психическую» атаку, выставив сзади роту автоматчиков. Капитан был ранен. Его подобрали, и он пролежал еще две недели в нашем госпитале.

Чтобы прекратить разговор, он спросил грубо и настойчиво:

— Нога все болит?

— Я ж сказала, что могу идти сама, — раздраженно ответила девушка.

— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаετε.

Капитан впрягся в сани и снова заковылял по талому снегу.

Шел дождь со снегом. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно, покрытую уже водой поверх льда.

На дороге лежала убитая лошадь.

Капитан присел возле нее на корточки, вытащил нож.

— Знаете, — сказала девушка приподымаясь, — вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно.

— Просто вы есть хотите, — спокойно ответил капитан.

Он поджаривал тонкие ломтики мяса, насадив их на стержень антенны, как на вертел.

— Вкусно? — удивилась девушка.

— Еще бы! — сказал капитан. — Жареная конина вкуснее говядины.

Потом он поднялся и сказал:

-- Я пойду посмотрю, что там, а вы оставайтесь.

— Хорошо, — согласилась девушка. — Может, это вам покажется смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.

— Ну-ну! Без глупостей, — сказал капитан.

Но это больше относилось к нему самому, потому что он смутился.

Вернулся он ночью.

Девушка сидела на санях, держа пистолет на коленях. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.

— Садитесь, садитесь, — попросил капитан тоном, каким говорил курсантам, встававшим при его появлении.

Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку:
— Штука-то какая. Немцы недалеко отсюда аэродром оборудовали.

— Ну и что? — спросила девушка.

— Ничего, — сказал капитан. — Ловко очень устроили. — Потом серьезно спросил: — У вас передатчик работает?

— Вы хотите связаться? — обрадовалась девушка.

— Точно, — согласился капитан.

Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через несколько минут она спросила, что передавать. Капитан присел рядом с ней. Стукнув кулаком по ладоням, он сказал:

— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация на волне... Какая там у вас волна, сообщите.

Девушка сняла наушники и с сияющим лицом повернулась к капитану.

Но капитан, сворачивая новую цыгарку, даже не поднял глаз.

— Теперь вот что, — сказал он глухо. — Рацию я забираю и иду туда, — он махнул рукой и пояснил: — Чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки, километра три, там вас встретят.

— Очень хорошо, — сказала Михайлова. — Только рацию вы не получите.

— Ну, ну, — сказал капитан, — это вы бросьте.

— Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.

— В виде бесплатного приложения, — буркнул капи-

тан. И, разозлившись, громко произнес: — А я вам приказываю.

— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать вы у меня не имеете права.

— Да поймите же вы! — вспылит капитан.

— Я понимаю, — спокойно сказала Михайлова. — Это задание касается только меня одной. — И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала: — Вот вы горячитесь и лезете не в свое дело.

Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то очень обидное, грубое, но превозмог себя и с усилием произнес:

— Ладно, валяйте, действуйте. — И, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал: — Сама додуматься не могла, так теперь вот..

Михайлова насмешливо сказала:

— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.

Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.

— Чего же вы сидите, время не ждет.

Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась.

— До свиданья, капитан!

— Валите, валите! — буркнул тот и пошел к реке.

Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой бы это было приятно.

И вот, если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах наверняка появилось бы мечтательное выражение; свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он

влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.

В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:

— Но ведь другие могут?

— А если вас убьют?

— Не всех же убивают.

— А если вас будут мучить?

Она задумалась бы и тихо сказала:

— Я не знаю, как я себя буду держать. Но ведь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.

И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:

— Нам теперь с матерью будет очень тяжело, очень.

— Папа, — звонко сказала она, — папа, ну, ты пойми, я же не могу оставаться!

Отец поднял лицо, и она испугалась. Таким оно было измученным и старым.

— Я понимаю, — сказал отец. — Ну, что же, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.

— Папа, — крикнула тогда она, — папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!

Матери они утром сказали, что она поступает на курсы военных телефонисток.

Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:

— Будь осторожнее, деточка.

На курсах Михайлова училась старательно и во время проверки знаний волновалась, как в школе на зачетах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только количество знаков передачи, но и ее грамотность. Но капитан был прав. Оставшись одна в лесу в эти дикие, холодные и черные ночи, она в первые дни плакала

и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно, и, хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.

И вот сейчас, пробираясь к аэродрому, она удивилась, как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу мокрая, с отмороженной ногой. А когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла своих глаз. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как ее дочь не любила класть его подмышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шопотом расстроено говорила: «Она больна». А отец укутывал звонок телефона в бумажку, чтобы его звук не тревожил дочь. А вот, если немцы успеют быстро засесть рацию, Михайлову убьют.

Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. А ведь на ней меховой комбинезон. Немцы, наверное, сдерут его. И она ужасалась, представляя себя голой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть солдаты отвратительными глазами.

А этот лес так похож на рощу в Краскове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гаммак был подвязан вот к таким же двум соснам-близнецам.

И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми глазами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: «Только не в губы». А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.

Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили: «Ты чего так расфуфырилась?»

— Подумаешь, — сказала она, — почему мне не быть красивой докладчицей?

И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь, и волочит обмороженную, вспухшую ногу.

«Ну, убьют. Ну и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну, и меня убьют. Я хуже их, что ли?»

Шел снег, хлюпали лужи. Гнилой снег лежал в оврагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку. Не было сил отползти на сухое место.

И снова ползла — с упорством раненого, который ползет к пункту медпомощи, чтобы там остановили кровь, дали пить, где он найдет блаженный покой и другие будут заботиться о нем.

Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полукрыв глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, но сигналов рации не было.

Пилоты, сидя на своих сиденьях, и стрелок-радист тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, но сигналов не было. Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.

И вдруг тихо, осторожно прозвучали первые позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутинку звука, разворачивались; ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной, как пение сверчка, как звон сухого колоса на степном ветру, как шорох сухого осеннего листа, этот звук стал поводом к огромным стальным кораблям.

Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-радисты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будут сброшены туда, на этот родной, призывный клич рации. Потому что здесь — самолеты врага.

Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде, и, наклонившись к рации, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой тине обмороженная нога онемела, боль в спине, в висках тискала голову горячим обручем. Михайлову знобило. Когда она подносила руку к губам — они были горячие и сухие. «Простудилась, — тоскливо подумала она. — Впрочем, теперь это неважно».

Иногда ей казалось, что она теряет сознание. Она открывала глаза и испуганно вслушивалась. В наушниках звонко и четко пели сигналы. Значит, рука ее помимо воли нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке и, может быть, мне дали бы полушубок... там горит печь... и все тогда было бы иначе. А теперь уже больше никогда ничего не будет... Странно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Все-таки я молодец. Может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно. Нет, это оттого, что мне больно, потому и не так страшно... Скорее бы только. Ну, что они в самом деле? Неужели не понимают, что я больше не могу?»

Всхлипнув, она легла на откос котлована и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперь ей стало видно огромное, тяжелое небо. Вот его лизнули прожекторы, послышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:

— Милые, хорошие! Наконец-то вы за мной прилетели. Мне так плохо здесь. — И вдруг испугалась: «Что, если вместо позывных я передала вот эти свои слова? Что же они тогда про меня подумают?»

Она села и стала стучать отдельно, четко, повторяя вслух шифр, чтобы снова не сбиться.

Гудение кораблей все приближалось. Застучали зенитки.

— Ага, не нравится?

Она поднялась. Ни боли, ничего. Изю всех сил она стучала по ключу, словно не сигналы, а крик «бейте, бейте!» высекала из ключа.

Рассекая черный воздух, ахнула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась поднять ее. Визжащие бомбы, казалось, летели прямо к ней в яму.

Она вобрала голову в плечи и присела, зажмурив глаза. Свет от пламени проникал сквозь веки. Дуновением разрыва в яму бросило колья, опутанные колючей проволокой. В промежутках между разрывами бомб на аэродроме что-то глухо лопалось и трещало. Черный туман вонял бензиновым чадом.

Потом наступила тишина, замолкли зенитки.

«Кончено, — с тоской подумала она. — Теперь я снова одна».

Она пыталась подняться, но ее ноги...

Она их не чувствовала совсем. Что случилось? Потом она вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она контужена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глину немножко отдохнуть. Хоть бы одна бомба упала сюда! Как все было бы просто. И она не узнала бы самого страшного.

— Нет, — вдруг сказала она, — с другими было хуже и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого.

Где-то ворчал автомобильный мотор, и белые холодные лучи несколько раз скользнули по черному кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый, чем разрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.

«Ищут. А лежать так хорошо. Неужели и этого больше не будет?»

Она хотела повернуться на спину, но боль в ноге го-

рячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула, попыталась встать и упала.

Холодные твердые пальцы дергали застежку ее ворота. Она открыла глаза.

— Это вы? Вы за мной пришли? — сказала Михайлова и заплакала.

Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова закрыла глаза. Итти она не могла. Капитан ухватил ее рукой за пояс комбинезона и вытащил наверх. Другая рука у капитана болталась как тряпичная.

Она слышала, как сипели полозья саней по грязи.

Потом она увидела капитана. Он сидел на пне и, держа один конец ремня в зубах, перетягивал свою голую руку, и из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:

— Ну как?

— Никак, — прошептала она.

— Все равно, — сквозь зубы сказал капитан, — я больше никуда не гожусь. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.

— А вы?

— А я здесь немного отдохну.

Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбнулся и свалился с пня на землю. Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащила его бессильное тело на сани. Он лежал неудобно, лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.

Она долго дергала постромки, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постромки и, пятась, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.

Она ничего не понимала. Как это может еще продолжаться? Почему она стоит, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она стояла с закрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться..

Она видела, как капитан сполз на землю, положил грудь и голову на сани и, держась за перекладину здоровой рукой, сказал шопотом:

— Так вам будет легче.

Он полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо.

Потом она упала и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась; вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.

Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукою, подвешенной к груди и зажатой между двумя грязными обломками доски, и смотрел на нее.

— Проснулись? — спросил он незнакомым голосом.

— Я не спала.

— Все равно, — сказал он, — это тоже вроде сна.

Она подняла свою руку и увидела, что рука голая.

— Это я сама разделась? — спросила она жалобно.

— Это я вас раздел, — сказал капитан. И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил: — Мы же с вами вроде как в реке выкупались, а потом я думал, что вы ранены.

— Все равно, — сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.

— Конечно, — согласился он.

Она улыбнулась и сказала:

— Я знала, что вы вернетесь за мной.

— Это почему же? — усмехнулся капитан.

— Так, знала.

— Глупости, — сказал капитан, — ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас

могли пристукнуть. На такой аварийный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигнализировать огнем. А вторых, вас запеленговал броневичок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока я ему гранату не сунул. А в-третьих...

— Что, в-третьих?—звонко спросила Михайлова.

— А в-третьих,—серьезно сказал капитан,—вы очень подходящая девушка. — И тут же резко добавил: — И вообще, где это вы слышали, чтоб кто-нибудь поступал иначе?

Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя сияющими глазами в глаза капитану, громко и раздельно сказала:

— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.

Капитан отвернулся. У него побагровели уши.

— Ну, это вы бросьте.

— Я вас не так, я вас просто так люблю, — гордо сказала Михайлова.

Капитан поднял глаза и, глядя исподлобья, задумчиво сказал:

— Ну, уж если так, тогда другое дело.

Поднявшись, он спросил:

— Верхом ездили?

— Нет, — сказала Михайлова.

— Поедете, — сказал капитан.

— Гаврюша, партизан, — отрекомендовался заросший волосами низкорослый человек с веселыми прищуренными глазами, держа под уздцы двух костлявых и кудрых немецких гюнтеров. Поймав взгляд Михайловой на своем лице, он объяснил:—Я, извините, сейчас на дворняжку похож. Прогоним немцев из района—побреюсь. У нас парикмахерская важная была. Зеркало — во! В полную фигуру человека.

Суетливо подсаживая Михайлову в седло, он смущенно бормотал:

— Вы не сомневайтесь насчет хвоста. Конь натураль-

ный. Это порода такая. А я уж пешочком. Гордый человек, стесняюсь на бесхвостом коне ездить. Народ у нас смешливый. Война кончится, а они все дразнить будут.

Розовое и тихое утро. Нежно пахнет теплым телом деревьев, согретой землей. Михайлова, наклонясь с седла к капитану, произнесла взволнованно:

— Мне сейчас так хорошо.—И, посмотрев в глаза капитану, потупилась и с улыбкой прошептала: — Я сейчас такая счастливая.

— Ну, еще бы, — сказал капитан, — вы еще будете счастливой.

Партизан, держась за стремя, шагал рядом с конем капитана; подняв голову, вдруг неожиданно заявил:

— Я раньше куру не мог зарезать. В хоре тенором пел. Пчеловод — профессия задумчивая. А сколько я этих немцев порезал! — Он всплеснул руками. — Я человек злой, обиженный.

Солнце поднялось выше. В бурой залежи уже просвечивали радостные, нежные зеленя. Немецкие лошади прижимали уши и испуганно вздрагивали, шарахаясь от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени.

* * *

Когда капитан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбужденный, разговорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто невзначай:

— А Михайлова снова на задании.

На лице капитана на секунду появилась горькая морщинка и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:

— Подходящая девушка, ничего не скажешь.— И, одернув гимнастерку, пошел в кабинет начальника доложить о своем возвращении.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Поединок</i>	3
<i>Крик в ночи</i>	11
<i>Два товарища</i>	15
<i>Семь дней</i>	24
<i>Мера твердости</i>	29
<i>Любимый товарищ</i>	36
<i>Рассказ о любви</i>	38
<i>Разведчик Захар Ситягин</i>	42
<i>Март—апрель</i>	44

Цена 1 руб.